

DOI: 10.15393/j9.art.2019.7082

УДК 821.161.1

А. В. Гулин

*Институт мировой литературы им. А. М. Горького,
Российская академия наук
(Москва, Российская Федерация)*

info@imli.ru

«Тень Пугачевщины» в «Войне и мире» Л. Н. Толстого

Аннотация. Статья посвящена всестороннему исследованию проблемы революции и традиции в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир». Данная проблема рассматривается в рамках комплексного анализа картин «богучаровского бунта» — единственного эпизода «Войны и мира», посвященного теме народных волнений. «Богучаровский бунт» — один из ярких примеров толстовской художественной типизации, что подтверждается исследованием впервые вводимых в научный оборот исторических материалов. В то же время поэтические особенности эпизода определяются религиозно-философской позицией писателя. Все, вплоть до мельчайших элементов поэтики «Войны и мира», сведено художником к этому идейному центру. Соответственно, эсхатологический аспект, характерный для темы бунта и самозванчества в русской истории и литературе, проецируется писателем на субъективно авторский конфликт естественной жизни и цивилизации. Таким образом, противопоставление Толстым национального согласия 1812 года смутным веяниям 1860-х гг. на уровне поэтики эпизода и романа в целом соприкасается с мятежным духом своего времени. Между «Войной и миром» и позднейшей «революцией Толстого» существует глубинная преемственная связь.

Ключевые слова: Толстой, Пушкин, богучаровский бунт, поэтика, композиция, сцена, эпизод, Пугачев, Наполеон

Об авторе: Гулин Александр Вадимович — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Российская академия наук (Поварская ул., 25а, г. Москва, Российская Федерация, 121069)

Дата поступления: 15.07.2019

Дата публикации: 18.10.2019

Для цитирования: Гулин А. В. «Тень Пугачевщины» в «Войне и мире» Л. Н. Толстого // Проблемы исторической поэтики. — 2019. — Т. 17. — № 4. — С. 173–192. DOI: 10.15393/j9.art.2019.7082

Имя знаменитого в России донского казака, лже-императора Петра III, преданного церковной анафеме вождя

Крестьянской войны 1773–1775 гг. Емельяна Пугачева упоминается в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» только дважды — и оба раза в эпилоге произведения. Первый раз это происходит в разговоре ставшего декабристом Пьера Безухова с его консервативно настроенным шурином Николаем Ростовым. Безухов так оправдывает свое участие в тайном обществе:

«Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел резать и моих и твоих детей, и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности»¹.

Второй раз имя Пугачева появляется в одной из философских глав эпилога:

«Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воля, то Пугачев есть ли представитель воли масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель?» (12, 308).

Эти отсылки к личности самого известного смутьяна новой русской истории выглядят в романе довольно случайными и, на первый взгляд, не затрагивают глубинную проблематику толстовского шедевра. «Война и мир» — эпическая книга о народном единстве, о торжествующей в 1812 г. «сущности характера русского народа и войска» (13, 54). Внутренние распри, братоубийственная крестьянская война минувшего столетия, кажется, и не должны были оказаться в поле зрения Толстого — ни исторически, ни духовно. Сословные, идеологические противоречия русского мира (если не принимать в расчет эпилог романа), действительно, выглядят в «Войне и мире» примиренными домашней, семейной правдой национального жизненного уклада. Лучшее тому свидетельство — братское единство господ Ростовых и ловчего Данилы в «охотничьих» сценах произведения.

Тем не менее вполне очевидно, что роман Толстого в силу своей эпической всеохватности должен был так или иначе отобразить все сколько-нибудь значимые стороны национальной жизни в эпоху войны с Наполеоном. И память о событиях гражданской войны XVIII в., о Пугачевщине как устремленном в будущее разрушительном духовном явлении, хотя

и с большим своеобразием, ожила в романе. Речь идет прежде всего о картинах так называемого «богучаровского бунта» из второй части III тома «Войны и мира», которые занимают строго определенное место в композиции романа.

Собственно, Толстой показал бунт не вполне состоявшийся, едва наметившийся. Суть его, как известно, свелась в романе к тому, что мужики села Богучарово перед лицом близкой наполеоновской оккупации не только отказались покинуть свои дома и уехать вместе с княжной Марьей Болконской вглубь страны, но и удерживали в имении саму только что осиротевшую княжну. Ее спасителем и усмирителем бунта неожиданно для себя оказался Николай Ростов, случайно заехавший в Богучарово в поисках фуража для своей воинской части.

С точки зрения композиции «Войны и мира» эпизод бунта в Богучарове также исключительно важен. После затронувшей всех центральных персонажей романа истории несостоявшегося брака Андрея Болконского и Наташи Ростовой («узел всего романа», по словам Толстого (61, 180)) в повествовании вновь встретились «ростовская» и «болконская» сюжетные линии, образовав одну из «несущих» в заключительном томе произведения семейных линий — линию Николая Ростова и княжны Марьи Болконской. Не менее значительны эти главы также и для проблематики эпилога романа.

Как всегда в «Войне и мире», Толстой опирался и здесь на подлинные факты и происшествия. В случае с «богучаровским бунтом» источники эпизода выглядят не вполне определенными, тем не менее можно не сомневаться, что и здесь писателем руководил вовсе не беспочвенный полет фантазии, что перед нами один из ярких примеров толстовской художественной типизации.

Рассказ о «бунте» в Богучарове предварялся на страницах «Войны и мира» исключительно яркой характеристикой проживающих здесь («диких», по определению старого князя Болконского) мужиков:

«Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797-м году (про которую говорили, что тогда еще

воля выходила, да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Федоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне и Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле» (11, 143).

Оставляя до времени вопрос о совершенно очевидной иронической тональности писателя, стоит обратиться к тем историческим фактам, которые в сознании богучаровских крестьян стали почвой для суеверий.

Прежде всего, здесь обращает на себя внимание упоминание императора Павла Петровича. Его недолгое пребывание у власти (1796–1801) действительно было отмечено шагами, направленными на облегчение участи крепостных и некоторое ослабление власти помещиков, почти совершенно безграничной в минувшую Екатерининскую эпоху. «Едва только император Павел вступил на престол, — отмечал историк той эпохи Е. П. Трифильев, — как среди крепостных стали распространяться слухи о перемене их положения, породившие случаи сначала незначительных волнений; но когда ряд указов, следовавших один за другим, показал, что новый государь действительно озабочен положением крестьян и серьезно стремится к его облегчению, тогда крестьяне увидели в новом царствовании <...> ту зарю свободы, которая, казалось, погасла для них навсегда. Крестьяне не хотели верить, что нет указа о свободе, они были убеждены, что этот указ издан новым государем, да его скрывают помещики и власти, ими подкупленные» [Трифилев: 20]. Несмотря на обнаружение высочайшего манифеста, пресекавшего всякие слухи об освобождении, крестьянские волнения охватили почти все центральные губернии России.

Еще более многозначительным в романе выглядело упоминание «имеющего через семь лет воцариться Петра Федоровича» (11, 143). Темные обстоятельства, при которых в 1762 г. окончил свои дни не успевший даже короноваться император Петр III, дали повод к появлению нескольких самозванцев. Наибольшую известность среди них, конечно, получил Емельян Иванович Пугачев. Он явно эксплуатировал популярные

в народе ожидания «мужицкого царя» и слухи о чудесном спасении свергнутого «злой женой» народного государя. Толки богучаровских крепостных в романе по-своему отразили общие для крестьянского мира второй половины XVIII в. смутные настроения, как правило, окрашенные понятиями о конце света и мужицком рае.

Изображая особенный, «дикий», характер богучаровских крестьян, Толстой говорил о «таинственных струях народной, русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников» (11, 144). Примечательно, что в последующих рассуждениях писателя ничего не сказано о направлении, которое примут таинственные народные силы: обратятся они в итоге против наполеоновского нашествия или же взорвут Россию изнутри? Рассматривая события словно в момент их совершения (важнейший принцип поэтики «Войны и мира»), писатель улавливает здесь некую альтернативу — независимый от любых логических построений выбор народом своего исторического пути. Очевидно лишь то, что единственный в романе случай открытого крестьянского неповиновения стал следствием наполеоновского нашествия.

Создавая богучаровский эпизод, Толстой, очевидно, имел в виду события, происходившие летом 1812 г. с его дедом Н. С. Волконским и матерью М. Н. Волконской. На это обстоятельство в свое время обратил внимание А. Г. Тартаковский, который издал в 1990 г. дневник Д. М. Волконского, двоюродного дяди писателя. Автор дневника, покинув Москву вместе с русской армией, направился в Ясную Поляну к брату своего отца и деду Толстого. «Заехал на дороге в кабак узнать, тут ли дядя, — пишет он, — нашел пьяного ундер-офицера, которой доказал мне грубостию, сколь народ готов уже к волнению, полагая, что все уходят от неприятеля. Приехав в деревню, узнал я, что дядя и с дочерью поехали тому два дни в Тамбовскую деревню княгини Голицыной, начавшиеся беспорядки и волнения в народе его понудили» [Волконский: 145–146]. За этим глухим свидетельством, по всей вероятности, скрывались происшествия, гораздо лучше известные Толстому по семейным преданиям.

Факты народного неповиновения в 1812 г., несмотря на деликатность этой темы, отмечали также и некоторые другие современники событий. Природа таких волнений была, как правило, неоднозначной. В некоторых случаях за поступками крестьян можно было предположить смутное желание с приходом Наполеона избавиться от крепостной зависимости. Подобные мотивы угадываются, например, в рассказе смоленского помещика А. А. Кононова о крестьянской семье, которая выказала очевидную дерзость в момент приближения французских войск и отъезда своих господ вглубь России:

«...у нас был молодой парень, Петр, он ездил фореитором. Когда все уже было готово к выезду, 6-го августа, описанному мною, пришли сказать, что Платон, отец его, и его жена, оставляют сына при себе и не позволяют брать его. Батюшка велел их позвать; они пришли и с наглым видом объявили, что не отпустят сына, прибавляя: “Прошла ваша власть, едете сами, Бог ведает куда, Бог ведает, что с вами будет, не даем сына!” В то время подобная выходка одна могла повести к бунту. Отец мой сказал: “Пусть так, пусть сын ваш остается; но знайте, что если я возвращусь, он в первый набор будет рекрут”. Они отвечали с дерзостью: “Не страшайте, не страшайте! Не вернетесь, батюшка!»²

По словам малолетнего в ту пору мемуариста, крестьянский сын после их возвращения действительно был отдан в солдаты. Записки Кононова увидели свет на страницах «Чтений в Обществе истории и древностей российских», выпусками которых Толстой интересовался в годы работы над «Войной и миром».

Наряду с огромным энтузиазмом, который вызвал в народе объявленный набор ополченцев, это событие также не прошло без тяжелых сцен, а возможно, и отдельных признаков народного недовольства³. Главная же причина, возбуждавшая ропот среди крестьян и отмеченные современниками вспышки народного гнева, состояла в недостаточном, по их мнению, патриотизме и приверженности господ французским обычаям и языку. Все европейское вызывало в деревнях подозрительность и неприязнь, пробуждая в то же время давние словесные противоречия⁴.

Сцены богучаровского «бунта» в «Войне и мире» отражали сложное и неоднозначное восприятие событий в крестьянской среде, а также неожиданные духовные «помрачения», возникающие на фоне общей готовности сопротивляться врагу. И картины несостоявшегося мятежа определенно проецировались тут на неистребимую в веках память о грозных потрясениях ушедшего столетия. Это была только «тень Пугачевщины», не более того, но ее присутствие выглядело в русском мире времен первой Отечественной войны совершенно реальным. Не менее очевидным оказалось оно и в романе Толстого.

В свое время Н. Н. Страхов, размышляя о художественных особенностях романа Л. Н. Толстого, находил глубинную поэтическую преемственность между «Войной и миром» и «Капитанской дочкой» А. С. Пушкина [Страхов: 294–300]. С точки зрения современных представлений о Толстом и его романе, это мнение выглядит далеко не бесспорным. Зато «богучаровские» главы романа-эпопеи, безусловно, являются точкой идейного и тематического соприкосновения двух великих произведений русской литературы. Разумеется, это сближение непреднамеренное, укорененное в единстве национальной исторической проблематики.

Особенно заметна сюжетная переключка романов Толстого и Пушкина в показе тех настроений, которые вызывает у жителей Белогорской крепости и у богучаровских крестьян приближение в одном случае — Пугачева, в другом — Наполеона. Пушкинский герой Петр Гринев рассказывал о постепенно нарастающих среди казаков мятежных настроениях, о каких-то таинственных контактах между казаками и самозванцем, о его обещаниях казачьему миру. Примерно так же накалялась обстановка и в «Войне и мире», где «крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними», и упоминался некий мужик, который привез от французов «сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено» (11, 144).

По прочтении обоих фрагментов трудно избавиться от впечатления, что помимо вещей самых очевидных, здесь идет речь о действии на человеческую душу и народный мир обольстительной, помрачающей чувства и разум смертоносной силы, причем

силы одной и той же. Подлинные истоки Пугачевщины (и это отчетливо проявляется в «Капитанской дочке») таинственны, скрыты в неразгаданных, порой суеверных, глубинах народной жизни, берущих свое начало в самом первом грехопадении. Но и богучаровский бунт на страницах романа Толстого — безусловно, явление того же порядка, хотя и вдохновленное нашествием передовых европейцев во главе с их «просвещенным» кумиром.

Главной целью «самозванческих» устремлений в русской истории всегда являлся захват царской власти. Самозванчество в России, что неоднократно отмечалось историками, собственно, и возникло одновременно с появлением в стране царского престола. Пожалуй, лучшая по сегодняшний день научная характеристика государственного и религиозного мировоззрения людей XVI–XVIII, отчасти также XIX столетий, принадлежит нашему современнику Б. А. Успенскому. «...Имя царя, — отмечает исследователь, — признается созданным не человеком, но Богом; соответственно, царский титул противопоставляется всем остальным титулам, как имеющий божественную природу. Еще более существенно, что данное слово применяется к самому Богу; в богослужебных текстах Бог часто именуется Царем, и отсюда устанавливается характерный параллелизм царя и Бога, как бы исходно заданный христианскому религиозному сознанию, — параллелизм, выражающийся в таких парных словосочетаниях, как “Небесный Царь” (о Боге) — “земной царь” — о Царе, “Нетленный Царь” (о Боге) — “тленный царь” (о царе), ср. также наименование царя “земным богом”, отмечающееся в России с XVI в.» [Успенский: 202–203].

В XVI–XVIII вв., постоянно укрепляясь, в России становилось общепринятым представление о царе (над которым совершалось при восшествии на престол таинство миропомазания, отсюда — помазанник Божий) как о земном образе Самого Христа. Явление Пугачева-самозванца тем самым могло рассматриваться как очередная (далеко не первая и не последняя в истории) попытка утвердиться в мире «человека греха, сына беззакония» лжемессии Антихриста, который, согласно христианским воззрениям, будучи полной противоположностью Спасителю, назовет себя Христом, чтобы в приближении конца света обольщать человечество.

Люди 1812 года, признавая в Бонапарте самое яркое воплощение, своеобразный «эталон» бунтарства и революционности, также нередко видели в нем самозванца и «всемирного поджигателя». Получившие отражение в «Войне и мире» толки о Наполеоне как предтече Антихриста имели весьма широкое хождение в русском обществе того времени.

Сравнение Наполеона с Пугачевым для русских современников тех событий тоже не представляло собой никакого парадокса. Так, один из публицистов того времени, говоря о Наполеоне, прибегал к выразительным, говорящим аналогиям:

«Правда, что и он в свою очередь много займет места в истории и надолго сохранится в памяти потомства. Но что такое будет память сия как не печать вечного проклятия? — И Картуш разве также не поставлен в истории? — И Пугачев разве также не памятен?»⁵

Пугачевщина, память о которой тогда еще не стала преданием столетий, означала, с точки зрения современников, не только зловещее историческое событие, но духовный принцип, жизненную модель, провозгласившую самозванство, собственную волю грешного человека главными и определяющими силами бытия. Народный бунт, будь то во Франции эпохи революции, или в России 1773–1775 гг., выглядел с их точки зрения нарушением всех Божеских установлений, дорогой к полному торжеству «подлого» честолюбия, вседозволенности, и в итоге — к попранию человеком его божественной природы. Пугачевщина и бонапартизм одинаково, по мнению людей того времени, покушались на основания русской и мировой гармонии, одинаково готовили «переворот» всего света и утверждение в нем безбожной власти.

В отличие от некоторых современников Наполеоновской эпохи и даже от своих современников (среди последних были святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов) Толстой не считал Наполеона несостоявшимся Антихристом. Впрочем, отдельные описания в романе в силу своей исключительной художественной полноты и многомерности (как это происходит, например, в почти невероятной сцене, где изображен Наполеон перед Москвой на Поклонной горе), независимо от воззрений художника заключали в себе

возможность в том числе и такой трактовки образа (см.: [Гулин: 7–12]). Глава «Войны и мира», в которой Наполеон ожидает ключей от русской древней столицы, не противоречит Откровению Святого Иоанна Богослова:

«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:7–10).

Под таким углом зрения полученные богучаровскими крестьянами «подметные письма», подаренная случайному мужику в знак обещания будущих «щедрот» фальшивая ассигнация (достоверные подробности из истории 1812 г.)⁶ тоже могут интерпретироваться в том числе как некий прообраз будущих искушений всемирного беззаконника. Тем не менее в контексте толстовской философии «богучаровский бунт», конечно, представлял собой нечто совсем иное, являлся, скорее, печальным «сбоем», который дала вечно прекрасная, эмоционально отзывчивая русская и мировая действительность.

У истоков замысла «Войны и мира» находилась мечта ее создателя о непринужденном чувствительном единстве всех живущих на свете. Толстой создавал книгу о естественной жизни, которая таит в себе разрешение всех противоречий, заключает в себе абсолютную меру хорошего и дурного, дарит человеку вечное, несомненное благо. Название в духе А. Н. Островского «Все хорошо, что хорошо кончается», которое на первых порах Толстой собирался дать своему роману, как нельзя лучше выражало «несущую» идею произведения. «Война и мир» в первую очередь утверждает и прославляет толстовскую мечту о божественной, словно никогда не знавшей грехопадения, чувствительной сущности всего, что живет и дышит.

Природа больших и малых конфликтов, которые возникают в романе, при всем их психологическом разнообразии, как правило, имеет единую и совершенно определенную первопричину. Это покушение цивилизации («головного», отвлеченного,

оформленного, сознательного начала в мироздании) против естественного бытия. Собственно, название «Война и мир», которое часто и на разные лады интерпретировалось теми, кто размышлял о толстовском романе, прежде всего, означает именно такое противостояние естественной жизни и цивилизации, то есть, согласно представлениям Толстого, жизни и «нежизни». Действующие лица романа и до некоторой степени целые народы проходят в «Войне и мире» через бесконечные «ловушки» цивилизации, чтобы самым ходом событий, в дальнейшей жизни и даже в смерти приблизиться к торжеству толстовской эмоциональной правды и «данного нам в ощущениях» («прелести» бытия, как любит говорить писатель) безличного сверхчувственного начала вселенной.

«Богучаровский бунт», очевидно спровоцированный наполеоновскими соблазнами, при всей укорененности эпизода в действительных происшествиях национальной истории оказался в этом смысле одним из показанных в романе, хотя и крайне своеобразным, цивилизованным «вывихом» естественной жизни. Нечто подобное происходило у Толстого и в судьбах отдельных героев (скажем, наполеоновская мечта князя Андрея Болконского, несостоявшаяся измена своему жениху — Болконскому, Наташи Ростовой, масонские искания Пьера Безухова), и в событиях большого исторического масштаба (обернувшееся катастрофой насквозь политическое, «головное», как полагал Толстой, сражение под Аустерлицем). Больше того, сказанное относится не только к «Войне и миру», но и к другим произведениям писателя (самый показательный пример — почти вся от начала до конца повесть «Отрочество» и то место, которое занимает она в толстовской трилогии о становлении человека).

Такого рода цивилизованные «покушения» на человека и мир почти всегда выглядят у Толстого как более или менее глубокие помрачения — душевной жизни отдельной личности или психологии масс — описанные, как правило, с необычайной, потрясающей воображение рельефностью. Нередко в них можно было бы увидеть признаки постороннего вторжения или даже беснования (безобразное поведение подростка Иртеньева в «Отрочестве», нравственное «падение» Наташи во втором

томе «Войны и мира»), если бы они не занимали своего места в единой художественной концепции произведения, предлагающей все-таки иные этические категории. Вместе с тем именно философское «выпадение» художника из русской духовной традиции становится в каждом из этих случаев источником столь же необычайного психологического реализма.

Нечто подобное происходит и в картинах «богучаровского бунта». Здесь можно увидеть вполне объективную духовную правду истории. «Тень Пугачевщины» действительно присутствует в этом не вполне характерном эпизоде «Войны и мира». Тем не менее отраженный в поэтике романа его философский контекст постоянно проецирует правду русской истории на субъективно авторское понимание происходящего и во многом определяет сугубо толстовские способы разрешения действительных противоречий. При этом отношения мужиков и княжны Марьи, почти затаенный характер крестьянского неповиновения сообщают эпизоду изумительное правдоподобие в силу исключительной сосредоточенности писателя на «божественных», с его точки зрения, эмоционально-психологических аспектах жизни. Хоть «божественное» и отравлено здесь (с поправкой на загадочную умственную жизнь богучаровских крестьян) рассудочными цивилизованными отвлеченностями.

У романа Толстого есть одна яркая особенность, прямо вытекающая из его религиозно-философской природы: «лекарством от цивилизации» для толстовских героев обычно становится простое и сильное, часто физическое потрясение. Один из наиболее показательных примеров в этом отношении — сцена ранения князя Андрея Болконского под Аустерлицем:

«Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову» (9, 344).

И Болконский, хотя и опасно раненный, очнулся и обнаружил в себе «человека чувствительного», избавился от наполеоновского недуга. Все вернулось на круги своя. Но, пожалуй, на первом месте по «чистоте приема» у Толстого должна находиться сцена из повести «Отрочество», которая избавляет от пережитого помрачения Николеньку Иртеньева, кругом виноватого перед своими близкими. Вместо цивилизованного, обдуманного

наказания розгами, которое обещал ему ненавистный губернёр St-Jérôme, собственный отец Николеньки просто взял и в порыве гнева «нецивилизованно» выдрал подростка за ухо:

«Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство» (2, 49).

Разразившиеся затем рыдания уже окончательно поправили дело. «Исцеленный» подросток заснул и через двенадцать часов, как было сказано в повести, чувствовал себя совершенно здоровым.

Усмирение напомнившей было о себе Пугачевщины состоялось в «Войне и мире» так же осязаемо и так же по-отечески.

Все нравственное, что переживали и делали герои романа, обычно совершалось необдуманно и непреднамеренно. При этом, отражаясь на эмоциональном состоянии других героев, любые переживания и поступки, не отравленные рассуждением и расчетом (показанные всегда исключительно правдиво и заразительно), безошибочно укрепляли взаимное согласие, вели к восстановлению утраченной гармонии мира и человеческих отношений. Николай Ростов совершенно случайно оказался в «мятежном» Богучарове и был глубоко тронут обстоятельствами, в которых застал княжну Марью:

«Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда!» думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. — «И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении!» думал он, слушая ее робкий рассказ» (11, 160).

Вызванные этим чувствительным импульсом дальнейшие события романа могут служить почти эталонным примером толстовской поэтики непреднамеренного действия как высшего проявления единственно значимой в «Войне и мире» эмоциональной нравственности. Ростов поступил необдуманно, повинувшись только душевному порыву, и, как выяснилось, очень результативно:

«— Я им дам воинскую команду... Я их попротивоборствую, — бессмысленно (здесь и далее курсив мой. — А. Г.) приговаривал Николай, задыхаясь от *неразумной* животной злобы и потребности

излить эту злобу. *Не соображая* того, что будет делать, *бессознательно*, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что *неблагоразумный* поступок его может произвести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо. <...> “Шапки долой, изменники!” — крикнул полнокровный голос Ростова» (11, 162–163).

Поразивший богучаровских мужиков массовый «вывих сознания» Николай Ростов решительно «вправил» всего лишь одной молодецкой зуботычиной, полученной зачинщиком беспорядков Карпом. Возможно даже, что крестьяне, подобно отроку Иртеневу из давней повести, испытали от всего происходящего «приятное моральное чувство». Во всяком случае, они, словно очнувшись от сна, дружно стали вязать тут же снятыми с себя кушаками неблагонадежного Карпа, а заодно и старосту Дрона. Мирно и дружелюбно крестьяне собрали княжну Марью в дорогу, а не помнившая зла княжна Марья простила своим крепостным все обиды. Психофизическое потрясение не в первый и не в последний раз на страницах романа возвратило естественную жизнь к ее неомраченному (даже посреди войны) нравственному течению. А Николай Ростов неожиданным для себя усмирением смуты к тому же приобрел личное счастье — спаситель и заступник, он нашел свою будущую жену. «Все хорошо, что хорошо кончается».

Казалось бы, «богучаровское недоразумение» разрешилось в романе почти трогательным «единением» (любимое слово Толстого) господ и крепостных. Однако простодушие и покорность усмирённых мужиков в заключительной части эпизода, конечно, принесли только временное (хотя и необходимое) умиротворение. Откровенно комический характер «сцены усмирения» едва ли может вызывать иллюзии на этот счет. Помнится, пушкинский Петруша Гринев называл увиденную в Белогорской крепости присягу самозванцу «ужасной комедией». И тому же Гриневу в захваченной Пугачевым крепости накидывали петлю на шею тоже сердечные, простодушные люди: «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить⁷. Нередко в истории грань

между народным добродушием и народным зверством, «остервенением» оказывалась почти неуловимой. Такого прочтения богучаровский эпизод романа, хотя и подчиненный единой философии «Войны и мира», тоже никак не исключал.

В годы работы над «Войной и миром» Толстой рассматривал ясное, жизнеутверждающее время Отечественной войны с Наполеоном как своеобразную нравственную альтернативу отравленной духом сомнения и разлада современности — 1860-м гг. Роман определенно был противопоставлен в сознании писателя революционным веяниям новой поры и духовной Пугачевщине в ее вековом развитии. Вместе с тем сам Толстой оставался человеком своего времени, далеко не чуждым его смутным устремлениям, и самым парадоксальным образом Пугачевщина получила в «Войне и мире» не только сюжетное развитие.

Завершая свой грандиозный труд, писатель говорил:

«Я верю в то, что я открыл новую истину. В этом убеждении подтверждает меня то независимое от меня мучительное и радостное упорство и волнение, с которым я работал в продолжение семи лет, шаг за шагом открывая то, что я считаю истиной» (15, 242).

«Война и мир» представляла собой законченное, целостное мировоззрение в образах, и мировоззрение это было весьма далеким от существующих в русском мире традиционных понятий. Писатель вообразил в красках «новую реальность», вдохнул собственный дух в национальную историю. Сверкающие жизненной правдой и красотой картины «Войны и мира» хранили в себе не только «благоуханную почву», но и готовый «развернуть» эту почву вспять от своих истоков дух новой, вполне «модернизированной» веры.

Естественная жизнь, чувствительная нравственность не нуждались, по мысли Толстого, ни в каком цивилизованном воздействии. Весь красочный, многосложный, драматичный «узор» национальной действительности выглядел в романе как нечто существующее само по себе, вечное и незыблемое. Так что, вероятно, прав был замечательный русский мыслитель И. А. Ильин, когда говорил о великом романе: «Здесь Толстой впервые

восстает против великих мужей и против государства; здесь впервые заявляет о себе его будущий анархизм» [Ильин: 439].

До известной степени в «Войне и мире» совершился художественный «переворот вселенной», подчиненной иному божеству, иным мировым законам. Из отдельных составляющих русской традиции, из ее драгоценных, неисчислимых и бесконечно любимых Толстым плодов титаническая воля писателя воздвигла как бы новый храм, по внешности сохранивший и даже особенно ярко выставивший на вид прекрасные очертания храма былого, но все-таки в значительной степени посвященный другой святыне — ценностям земной «безгрешной» действительности, по сути — ценностям назревающей русской революции. Все (вплоть до мельчайших) поэтические элементы «Войны и мира» оказались безупречно сведены художником к этому идейному центру.

Вместе с тем составная часть «Войны и мира», ее эпилог, уже не вполне принадлежал этому произведению. Наряду с толстовской проблематикой «жизни» и «не-жизни», тесно переплетенные с ней, тут возникли новые, почти не связанные с романом, даже глубоко чуждые ему конфликты. Россия 1805–1812 гг., какой она предстала у Толстого, вовсе не обещала наступившего раскола между Пьером Безуховым и Николаем Ростовым, поставленными на грань теперь уже новой, гражданской, войны. Он приходил как будто из другой, строго исторической реальности. Так же внезапно над героями выростала тень Пугачева (о чем в эпилоге говорил Безухов).

Кажется, Толстой одновременно с подведением итогов своего грандиозного труда и попыткой «увязать» все ранее сказанное с более поздними событиями русской истории попытался теперь окинуть собственное творение взглядом со стороны, увидеть только что сотворенную поэтическую «вселенную» с точки зрения действующих в мире объективных законов. И в этом смысле уместно взглянуть на «богучаровский бунт» под углом, не вполне предусмотренным художественной логикой «Войны и мира».

«Странное брожение» среди крепостных крестьян все же выглядело почти необъяснимым в свете естественной философии романа. Реальная проблематика национального мира напомнила здесь о себе независимо от любой «религии чувства».

Недовольство собственным положением, внутренней отчужденностью господ, суеверные фантазии, — все это прорвалось у крестьян в самых нелепых, но угрожающих формах. Помимо воли Толстого тут возникали новые, далеко не «виртуальные» проблемы. Почему эти благородные мечтатели, эти герои не для Отечества, а для себя владеют живыми душами? Если они служат не государству, а только естественной жизни, то чем вообще оправдана их власть над людьми, их привилегии? Разве богучаровский мужик существует на свете лишь для того, чтобы им удобнее было строить наполеоновские планы, делать карточные долги (Николай Ростов проиграл Долохову 43 тысячи рублей и, тем самым, безнадежно погубил хозяйственные дела своего семейства, а также, можно не сомневаться, многих крепостных крестьян), заседать в масонских ложах, терять и находить «естественное» добро, а потом учить своему добру этого самого мужика? И кто в таком случае подлинный виновник богучаровского «недоразумения»?

В свое время А. С. Пушкин немало размышлял о тех последствиях, которые может иметь для России объединение в одном революционном порыве дворянского мятежного своеволия и русского бунта. Эта обращенная в будущее проблема находилась в центре незавершенного романа о Владимире Дубровском, намечалась она и в ранних набросках «Капитанской дочки». В судьбе и творчестве Толстого, в самой авторской позиции на страницах «Войны и мира» она получила свое очевидное развитие и осложнение.

Именно «каратаевские», а по сути — толстовские открытия, сделанные Безуховым на исходе 1812 г., увлекали героя к попытке «освободить» общество от пагубных «цивилизованных» начал. Вполне убежденный, что без него «все распадается», Пьер говорил и действовал в эпилоге как единственный обладатель истины. Он мечтал о том, что «люди добра», взявшись за руки, все вместе остановят новую Пугачевщину. Увы, такое «исцеление по-безуховски» не обещало России мира. «Филантропическое» отторжение Пугачевщины скорее грозило обернуться ее продолжением. Религия безгрешного человечества, незримо устремляясь навстречу русской революции, приносила совсем не те плоды, о которых мечталось.

Последние десятилетия своей жизни Толстой в значительной степени посвятил «ненасильственному» разрушению традиционной русской цивилизации (и гораздо меньше — цивилизации мировой). Церковь, государство во всех его проявлениях, семья, экономическая жизнь, классическое образование, культура, общественные отношения, — все без исключения институты национального мира подверглись его «испепеляющей» критике. Не только мрачные, тяжелые стороны действительности, неизбежно связанные с большинством из этих институтов на грешной земле, но именно институты как таковые. При этом писатель не считал себя разрушителем. На руинах русского мира (и целой вселенной) ему представлялась некая, как полагал он, христианская, «цивилизация чувства», и Толстой с не меньшим упорством и размахом пытался сформулировать и заложить ее основания. Как тут не вспомнить (такая аналогия уже возникала в толстоведении) богучаровских крестьян с их мечтой «о имеющем воцариться» Петре Федоровиче, «при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет» (11, 143).

Таким образом, эсхатологический аспект, характерный для темы бунта и самозванчества в русской истории и литературе, оказался спроецирован Толстым на субъективно авторский конфликт естественной жизни и цивилизации. Противопоставление писателем национального согласия 1812 г. смутным веяниям 1860-х гг. на уровне поэтики богучаровского эпизода и романа в целом сопряжено с мятежным духом своего времени. Нет сомнения: между «Войной и миром» и позднейшей «революцией Толстого» существует, хотя и неявная, глубинная преемственная связь.

Примечания

- ¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1940. Т. 12. С. 284. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
- ² Кононов А. А. Воспоминания о 1812 и 1813 годах // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1860. Кн. 3. С. 231.
- ³ См.: Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской // Вестник Европы. 1874. № 8. С. 588.

- ⁴ Об этом, например, ярко повествуют записки сенатора А. Д. Бестужева-Рюмина, опубликованные на страницах «Чтений в Обществе истории и древностей российских». См.: Бестужев-Рюмин А. Д. Краткое описание происшествий в столице Москве в 1812 году // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1859. № 2. С. 79.
- ⁵ Беседа столетнего подмосковного жителя с пленным французским солдатом. СПб., 1813. С. 7.
- ⁶ Липранди И. П. Еще о фальшивых ассигнациях 1812 г. // Русский архив. М., 1865. С. 873–882.
- ⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. Т. 6. С. 308.

Список литературы

1. Волконский Д. М. Дневник // 1812 год... Военные дневники / сост., вступ. ст. А. Г. Тартаковского. — М.: Советская Россия, 1990. — С. 142–154.
2. Гулин А. В. На Поклонной горе (Москва и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир») // Литература в школе. — 2002. — № 9. — С. 7–12.
3. Ильин И. А. Лев Толстой как истолкователь русской души («Война и мир») // Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. — М.: Русская книга. — 1997. — Т. 6. — Кн. 3. — С. 428–455.
4. Страхов Н. Н. «Война и мир». Сочинение гр. Л. Н. Толстого. Томы I, II, III и IV // Страхов Н. Н. Литературная критика: сб. статей. — СПб., 2000. — С. 294–300.
5. Трифильев Е. П. Очерки из истории крепостного права в России: Царствование императора Павла Первого. — Харьков: Печатное дело, 1904. — 360 с.
6. Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. — Л.: Наука, 1982. — С. 201–235.

Alexander V. Gulin

*A. M. Gorky Institute of World Literature,
The Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russian Federation)*

info@imli.ru

The “Ghost of Pugachov” in the “War and Peace” of Leo Tolstoy

Abstract. The article is dedicated to a comprehensive study of the problem of a revolution and tradition in Leo Tolstoy’s epic novel “War and peace”. The chosen problem is regarded in the context of a comprehensive analysis of the paintings of the “bogucharovsky revolt” — the only episode of the “War and peace”, touching upon the theme of popular unrest. The “Bogucharovsky

revolt” is one of the spectacular examples of Tolstoy’s art of typification, as it appears from the study of the historical material for the first time introduced into the scientific turnover. At the same time, the poetic peculiarities of the episode are conditioned by a religious and philosophical position of the writer. All the minor elements of the poetics of the “War and peace” are perfectly reduced by the artist to this ideological center. Accordingly, an eschatological aspect inherent in the rebellion and self-proclamation theme in Russian history and literature is projected by the writer onto the author’s personal conflict of natural life and civilization. Thus, the author’s idea of the contraposition of the national consent of 1812 with the civil unrest trends of the 1860s at the level of the poetics of the episode and the novel, as a whole, follows a rebellious spirit of that time. Between the “War and peace” and the later “Tolstoy revolution” there is a deep continuity.

Keywords: Tolstoy, Pushkin, bogucharovsky revolt, poetics, composition, scene, episode, Pugachov, Napoleon

About the author: *Gulin Alexander V.* — Doctor of Philology, Leading Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature, The Russian Academy of Sciences (ul. Povarskaya 25a, Moscow, 121069, Russian Federation)

Received: 15.07.2019

Date of publication: 18.10.2019

For citation: Gulin A. V. The “Ghost of Pugachov” in the “War and Peace” of Leo Tolstoy. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 173–192. DOI: 10.15393/j9.art.2019.7082 (In Russ.)

References

1. Volkonskiy D. M. A Diary. In: *1812 god... Voennye dnevniki [1812... Military Diaries]*. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1990, pp. 142–154. (In Russ.)
2. Gulin A. V. Upon Poklonnaya Hill (Moscow and Napoleon in Tolstoy’s Novel “War and Peace”). In: *Literatura v shkole*, 2002, no. 9, pp. 7–12. (In Russ.)
3. Il’in I. A. Lev Tolstoy as an Interpreter of the Russian Soul (“War and Peace”). In: *Il’in I. A. Sobranie sochineniy: v 10 tomakh [Ilyin I. A. Collected Works: in 10 Vols]*. Moscow, Russkaya kniga Publ., 1997, vol. 6, book 3, pp. 428–455. (In Russ.)
4. Strakhov N. N. “War and Peace”. An Essay of Count L. N. Tolstoy. Volumes 1, 2, 3 and 4. In: *Strakhov N. N. Literaturnaya kritika: sbornik statey [Strakhov N. N. Literary Criticism: Collection of Articles]*. St. Petersburg, 2000, pp. 294–300. (In Russ.)
5. Trifil’ev E. P. *Ocherki iz istorii krepostnogo prava v Rossii: Tsarstvovanie imperatora Pavla Pervogo [Essays on the History of Serfdom in Russia: the Reign of Emperor Paul the First]*. Kharkov, Pechatnoe delo Publ., 1904. 360 p. (In Russ.)
6. Uspenskiy B. A. The Tsar and the Imposter: Imposture in Russia as a Cultural and Historical Phenomenon. In: *Khudozhestvennyy yazyk srednevekov’ya [An Artistic Language of the Middle Ages]*. Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 201–230. (In Russ.)